Леонид Скляднев

«Оазис»

Рассказ

«Лерка, шалава», — выдохнулось горько в самую душу. И Бялик со стены посмотрел на него с задумчивой жалостью. Арье Шнеерзон сидел под его портретом в похожей на маленький школьный класс комнате, милостиво выделенной муниципалитетом Града Авраамова[1] под литстудию выходцев из Союза. Был Арье дородным мужчиной лет этак за пятьдесят, неплохо и совсем по-израильски одетым в светлые шорты чуть ниже колен, мягкие летние туфли из джинсовой ткани и добротную темно-синюю футболку с неброской надписью на английском. Красиво зачесанные назад с высокого лба темные с густой проседью волосы сообщали внешности его что-то творческое. В темных же иудейских глазах — наследство почившей мамы — тлела грусть.

Изымая из горестного забытья, до него донесся задорный старческий голос: «Дорогая Таисия — свет задумчивых глаз. Ночью встану, пописию, вспомню чудную вас. Заметаюсь, забегаю по квартире пустой, обделён вашей негою, навсегда холостой». Он поднял голову, обводя строгим взором хихикающую аудиторию (десятка полтора весьма преклонного возраста людей обоего пола и с ними крупный длинноволосый молодой человек и бледная девица с горящим взором), погрозил пальцем чтецу, полному старичку в светлой рубашке, заправленной в серые выше талии брюки с пряжкой на ремне в виде якоря. Редкие выцветшие от старости и пустынного солнца волосы были аккуратно причесаны, пухлые щеки гладко выбриты, темные глазки шаловливо щурились и смеялись, глядя на маэстро без страха и почтения. Арье нарочито нахмурился: «Опять вы, Михаил... Ну что это, ей-богу, в вашем-то возрасте...» Михаил беспечно махнул короткой пухлой ручкой: «Да не чувствую я его, возраст. “Половодье чувств”, знаете ли». — «Что стар, что млад, — усмехнулся про себя Арье и счел нужным заметить: — К вашему сведению, образованные люди говорят “пописаю”». Михаил покорно склонил прилизанную голову: «Ну, вы известный грамотей». Исподлобья снова шаловливо блеснули темные глазки: «Можно я еще одно?» — «Опять “половодье чувств”?» Аудитория хихикнула. «Нет, что вы! Это на

Леонид Скляднев родился в 1954 году в городе Бузулуке Оренбургской области, в семье врачей. Служил в Советской Армии, учился на экономическом факультете МГУ им. Ломоносова (1974—1978) и в Куйбышевском плановом институте. Работал экономистом в разных организациях в Самаре и на Севере Западной Сибири. Живет в Израиле. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

[1] Град Авраамов — имеется в виду Беэр Шева, город на юге Израиля.

тему немецкой культуры», — ангельским голоском заверил Михаил. «Ну, валяйте», — рассеянно снизошел Арье. «Феноменология Гегеля дух заключает в плен». — Голос чтеца звучал смиренно и строго. «Ё-моё, ну что за каша у человека в голове», — лениво подумал маэстро, убеждаясь, что речи о «половодье чувств» и вправду нет. Тут голос чтеца окреп: «А упражнения Кегеля...» Очнувшись, Арье в отчаянном протесте воздел правую длань. Но было поздно. «Нам укрепляют член!» — торжествующе закончил Михаил. Аудитория уже не хихикала, а рыдала. Повеяло валерьянкой. Нечего было сказать. «Он, к вашему сведению, не Кегель, а Кёгель. Американец к тому же», — проворчал Арье. «Ну ла-адно, Лев, ради рифмы-то можно подправить», — добродушно отозвался триумфатор, назвав маэстро его прежним — настоящим — именем. И у того кольнуло сердце: «Лерка, шалава».

Да, далеко от Москвы увела его роковая Валерия Петрова и бросила на семи ветрах эмигрантского неустройства. Именно вот эмигрантского! Пусть там безумные советские сионисты лезут из кожи вон, желая быть бо́льшими израильтянами, чем сами израильтяне, и гордо называют это переселение разношерстного люда «алиёй»[1]. Лично он, коренной москвич Лев Сидоров, никуда не восходил, а вышагнул в пустоту, рухнул в глухую пропасть забвения. В пропасть — то есть проп*а*сть. И как он мог так расслабиться под действием безответственных Леркиных чар! О-о...

Да, в прошлой жизни Арье был Львом[2], Лёвой, сыном русского доцента-механика Бауманки Сергея Сидорова и еврейской пианистки Софьи Шнеерзон, аккомпанировавшей юным танцовщицам в столичном Институте культуры. А Арье Шнеерзоном его записала в Израиле Лерка — типа, привычней звучит для еврейского уха. Лёвина мама была женщиной сердобольной, привечала учениц и часто приглашала их в просторную, доставшуюся от сугубо партийного деда квартиру в районе Патриарших прудов. Девицы, угождая хлебосольной хозяйке, ласкали-миловали красивого упитанного Лёвушку, и он рос этаким запущенным в райский огород счастливым козликом. Настолько счастливым, что по окончании школы пришлось его от греха подальше отправить в армию, оплатив аборты двум юным жрицам Терпсихоры. Напуганный Лёва честно оттрубил два года в какой-то закрытой части, затерянной в подмосковных лесах. Служил верой-правдой и с партбилетом и внушительной армейской рекомендацией в кармане, при помощи кое-каких родительских связей, поступил на подготовительное отделение филологического факультета МГУ. Он с детства любил читать про любовь и страшился бездушных формул, коими полны были отцовские фолианты. Филфак предстал Лёвушке совсем уж безбрежным райским огородом, готовым сторицей вознаградить его за два года армейского воздержания. Учебой Лёва себя не утруждал — так, чтобы хвостов не оставалось, — и много времени проводил в огороде. Но, битый, пасся осторожно, а главное, с разбором. К концу учебы не сказать чтобы остепенился, а — определился. Девица с третьего курса — не красавица, но в меру пригожая, да и не в этом дело было, а в папе — заведующем кафедрой филфака. Давно овдовевший папа с единственной дочери глаз не спускал. Чтобы не спугнуть ценную дичь, Лёва начал с осторожного ухаживания. Но папа-профессор навел про самозваного ухажера справки и однозначно заявил дочери, что безвестный полужид-троечник, хоть и с партбилетом, ей не пара, а готовится ей блестящая партия из дипломатической среды. Девица грустно поведала о том кавалеру. Лёва, разыграв безутешного, пробудил в девичьей душе жалость — начало страсти и, не оставив сие без взаимности, овладел девичьим телом, включая и сердце. Их роман оставался тайным недолго. Вскоре девица поняла, что имеет во чреве, и они с Лёвой решили во

---

[1] Али*я* — восхождение; так называют на иврите возвращение евреев в Израиль, на так называемую историческую родину *(ивр.)*.

[2] Арье — лев *(ивр.)*.

всем открыться грозному профессору. Поднялась страшная буря. Громы гремели, и молнии полыхали над несчастными влюбленными, грозя испепелить их дотла. Но... Делать было нечего, и вскоре все утихло.

Спешно сыграли свадьбу — по-домашнему, для своих. Но все же осталась в профессорской душе горечь, и он так и ждал от незваного женишка какого-нибудь подвоха. Ожидания его оправдались — на пятом месяце, сиречь через три месяца после свадьбы, у молодой случился выкидыш. То есть той главной причины, по коей профессор со скрежетом зубовным разрешил неравный брак, более не существовало. А поди теперь его, брак-то, отмени! И хотя бедный Лёва никак в случившемся повинен не был и переживал искренне, и ни на шаг не отходил от убивавшейся супруги, профессор чувствовал себя одураченным. Но мало-помалу зажила и эта рана, хотя и напоминала о себе ноющей болью. Да ведь жить-то надо. И устраивая судьбу любимого чада, замолвил профессор словечко за нелюбимого зятька, и оказался тот, со всеми своими «удами» в дипломе, в аспирантуре. За три года вымучил кандидатскую по Льву Толстому и начал трудиться старшим преподавателем на смежной с профессорской кафедре. Непыльная работа увлекла его, и великий тезка стал близким и почти родным. Тем временем родители Лёвины безвременно отошли в мир иной, оставив сыну квартиру на Патриарших, куда он с женой и переселился из профессорских хором в ГЗ[1], где вовсе не чувствовал себя комфортно. С женой они друг к другу притерлись, жили в довольстве, совете и любви. И на сторону Лёва почти не поглядывал. То есть, ничего не скажешь — жизнь сложилась. Но...

Сначала достал бес в ребро профессора. Вроде, о повторной женитьбе не помышлял, а вот же... Юная аспирантка Валерия Петрова ворвалась в его жизнь все сметающим с привычных мест смерчем. Ух, какая она была! Профессор, как целомудренный юноша, потерял дар речи, впервые увидев ее обнаженной в запертом ею изнутри на ключ университетском кабинете. И увидев ее такой, погиб. Женившись чуть ли не в тайне, сокровище это профессор берег как зеницу ока, никому без особой нужды не показывал. Благо, роскошная домашняя библиотека и занимавшаяся заря интернета позволяли аспирантке готовить ученый труд, не выходя из дома. Так что до поры до времени Лёва только слышал о молодой профессорше, а видеть не видел. И думал, что для него это по-любому к лучшему — старик меньше в их жизнь соваться будет. Супруге же Лёвиной отцовская молодая сразу и радикально не понравилась. Ну, это и понятно — вопрос наследства запутывался.

Как уже сказано выше, непыльная работа Лёву увлекла. Да и грех было назвать унылым словом «работа» пребывание в полных прекрасными студентками уютных классах гуманитарного корпуса. И не это одно. Заметив особое рвение подопечного в изучении творчества «матерого человечища», завкафедрой предложил ему написать — ни много ни мало! — монографию и по этому поводу свел с доцентом-историком по фамилии Донской. Лёва с доцентом как-то сразу сошлись и даже внешне оказались схожи: оба крупные, дородные, с темноволосыми шевелюрами и красными чувственными губами, красивые сытой красотой маменькиных сынков. Донской этот был зело борз во владении пером и руководил литстудией «Озаренье», на заседание коей зазвал как-то Лёву: «Это даже и лучше, что сам не пишешь. У нас качественной критики дефицит. А у тебя нюх на литературу, как я убедился, тонкий».

Польщенный, Лёва обещал приглашением непременно воспользоваться. Как раз супруга его уехала по культурному обмену в Венгрию, и в урочный вечерний час он отправился в студию. Залитый неоновым светом коридор гуманитарного корпуса был почти пуст. Почти... Она двигалась в том же направлении, что и он, походкой балерины, расправив плечи, прямо держа спину и разворачивая ступни длинных сильных ног. Лёва искушенным взглядом (на балеринах же и вырос!) обласкал сзади

[1] ГЗ — главное здание МГУ им. Ломоносова.

ее стройную девичью фигуру с тонкой талией и замечательно крутыми ягодицами, обтянутыми серой короткой юбкой. Пышные рыжие волосы до плеч волновались в такт шагам. Она остановилась у двери с начертанным от руки красным фломастером на стандартном листе призывом: «Написал стихотворенье? Так бегом же в "Озаренье"!» Подоспевший Лёва учтиво раскрыл перед ней дверь. Взгляд ее огромных зеленых глаз был полон приятия. Она выдохнула «благодарю вас» так, что Лёве послышалось «твоя навеки», и сладко заныло сердце.

Донской представил ученого критика и усадил рядом с собой, а рыжеволосую красавицу попросил, как новенькую, прочитать что-нибудь — для знакомства. Она встала спиной к окну, между сидящими студийцами и председательским столом с Донским и Лёвой, в профиль и к тем и к другим, и не осталось в студии ни одного равнодушного мужского ока. Никто не слушал и не слышал того, что она декламировала. Все завороженно впились в нее глазами. А она стояла, как балерина, развернув плечи, с высоко поднятой грудью, рыжее пламя волос полыхало, и туманились зеленые, огромные, устремленные на Лёву очи: она нежилась в теплом потоке скользящих по ней, раздевающих и ласкающих взглядов, принадлежа при этом одному лишь Лёве, ему лишь даруя блаженство. Или ему это только казалось? Но так ли, этак ли, а он, неожиданно для себя, высказал такое убедительно восторженное мнение о ее стихах, что все почти с ним согласились, и даже известный своим критицизмом Донской благосклонно улыбнулся. Остальное Лёва помнит плохо. Очнулся, когда они уже рука об руку в вечерней прохладе позднего сентября медленно шли по аллее от гуманитарного корпуса к ГЗ. Говорили о высоком. «А ведь вы и не знаете, кто я», — вдруг загадочно проворковала она. Он поднял непонимающие глаза. Она улыбнулась насмешливо и виновато: «Я вашего тестя жена». Лёва остолбенел. Она обвила его шею руками, сладко поцеловала в губы и прошептала: «Поехали к тебе. Твоя же в Венгрии, а мой на ученом совете». В темноте такси нашла его руку, сильно сжала горячей ладонью и снова заговорила о высоком. И в лифте — с горящими зелеными очами — тоже все о предначертанном, о вдохновении, о таинстве встреч. Вошли в квартиру. Лёва запер дверь, включил свет, разрываясь между смятеньем и страстью, обернулся. Ух, какая она была! Спросила: «А где телефон?» Прошла туда, куда он молча кивнул. Негромко говорила в трубку: «Ленка, слушай, короче, я у тебя весь вечер. Поняла? Ну, если профессор искать меня будет». Он пошел на ее голос. Она, возвращая трубку на место одной рукой, другую завела назад. Коротко взвизгнула молния, серая юбка упала на пол. В тонком черном обтягивающем свитере под горло и черных колготках, глядя ему в глаза, она ласково промурлыкала: «Ну, что же ты, Лёвушка, стоишь, из штанов не вынимаешь». И-и-и — понеслась его жизнь вскачь прямо в бездну.

То есть внешне все имело вид полного преуспеяния. Гуляющий по России перестроечный беспредел беспокоил Лёву с супругой мало — бабок хватало. Из компартии он удачно и безболезненно выскользнул — то в духе времени было. Работа над монографией близилась к триумфальному завершению, и его завкафедрой, как о чем-то решенном, говорил о месте доцента. Донской ввел в столичный литературный круг и обучил премудрому ремеслу критика, и науку эту Лёва схватил на лету: это дома на диване можно себе в удовольствие смаковать любимого Гумилёва, а на критическом поприще нет места всяким «нравится/не нравится», здесь иные критерии — мода, имя, рынок; ну и священную заповедь безблагодатного светского общения «ты — мне, я — тебе» усвоил во всей ее широте и глубине. И потому непишущего Лёву с его удобными и кому надо угождающими, но вполне академическими мнениями принимали благосклонно, и статьи мелькали аж в «Литературной газете». Но за этими тишью да гладью, в любой момент готовая все к чертовой матери смести, бушевала их с Лерой неукротимая страсть. И как ни таились они по закоулкам гуманитарного корпуса и по углам подружкиных квартир, а шила в мешке не утаишь. Кто-то что-то увидел, услышал, шепотком в волосатое ухо профессорское нашептал. А тот и так уж

ревнивым старческим чутьем чуял, что молодая его на передок слаба, и подключил к делу младшего брата, полковника ФСБ. Тот без труда докопался до правды.

Профессор-филолог изрыгнул на молодую изрядную порцию ненормативной лексики. Валерия виновато пожала плечами и вдохновенно, по обыкновению своему, отвечала: «Ну, что вы хотите? Это выше меня. Когда он во мне, я иные миры созерцаю». Снова было профессор хотел разразиться площадною тирадой, но сдержался и, скрипнув зубами, зловеще провыл: «Иные миры, говоришь?» Зятька же, «Иуду поганого», и вовсе почел за лучшее не лицезреть — от греха подальше. Вечером позвонил брату-полковнику.

На Патриарших прудах Лёва был встречен супругой единственным словом: «Подонок!» Засим и расстались навеки.

И зажили с Лерой они в угаре страсти, говоря о высоком. И прожили так с месяц. Никто их не трогал. Правда, в университете Лера решила какое-то время не появляться — ну, пока буря не утихнет. Лёва же посещал ученую свою службу как ни в чем не бывало. И уж, затаив дыханье, стали думать, что все улеглось...

Первой черной ласточкой прилетело из университета письмо об отчислении из аспирантуры Валерии Петровой — за несоблюдение графика подготовки научной работы. А уж там — как под гору покатилось неудержимо, бред кафкианский: статья маститого профессора в «Вестнике МГУ» о том, что вся монография молодого «ученого» от первой буквы до последней — наглый плагиат. А вывод таков: не место наглым плагиаторам в храме российской науки. И еще вчера ласковый декан уже отводит холодные глаза и пишет приказ об увольнении. И скажите на милость, что делать и как теперь жить? Единственное, чем облегчил им профессор жизнь, так это двумя быстро оформленными разводами — дочери и собственным. Правда, безбрачие Лера тут же устранила заключением брака с Лёвой. Но никаких проблем это не решало. Лера, как всегда, вдохновенно: «Квартиру сдадим за хорошие бабки и поедем в деревню детишек учить». Ну, добро. Отправилась Лера в деревню выяснять насчет места. А на следующее утро, рано-рано, «два барана застучали в ворота — тра-та-та, тра-та-та». Лёва, не видя спросонья, открыл. Двое лысых и крепких грубо впихнули его в комнату, угрожающе загудели о чем-то, не укладывающемся в сознании: «Короче, квартиру пишешь на нас, а сам съезжаешь в Орехово-Борисово, в двушку. Все оформим, уметешься, и чтобы — ни слуху, ни духу». Очнувшись, Лёва встал на дыбы: «Никакого обмена! Вы откуда такие? Вот я вам милицию!..» Двое лысых, слегка ухмыльнувшись, приблизились к Леве... Его отметелили так, что пальцем не мог шевельнуть. Напоследок сказали: «До скорого, Лёва. А в милицию лучше бы не обращаться». И красные корки — под нос. Еще — знай нашу доброту! — бросили на стол тощую пачку зеленых. Типа, за обмен.

Вернулась Лера. Увидела милого — лицо руками закрыла, разрыдалась. А проплакавшись, стала думу думать. И придумала: «Мы, Лёвушка, на Святую Землю подадимся. Ты же по матери еврей — как раз то, что надо. А на Святой Земле для евреев — рай небесный. Ну, и я при тебе. Я все уже продумала и с людьми знающими поговорила».

До сих пор не может Лев-Арье вспоминать без тоскливого ужаса то время. Бред кафкианский: душащий страх, недоумение, обида и ненаучная Леркина фантастика о неведомом счастье на Святой Земле.

И жалко прижавшись друг к другу, обезумевшие от произошедшего, в чужой им толпе Исхода... «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я».

«Израиль, жаркая страна,
Ты Богом мне на то дана,
Чтоб, наконец зажив евреем,
Писал я ямбом и хореем».

Арье вскинул глаза на чтеца — сухонького, с длинными седыми волосами востроносого старца по имени Ипполит, ныне безвестного пенсионера, а в прежней жизни — музыкального критика. Ипполит смотрел на маэстро не дыша, истошно вопрошающе, будто решалась сама его жизнь. Арье усмехнулся в душе — и волнению чтеца, и читанному им бреду сивой кобылы — и поощрил: «Вот это добротно! Это, можно смело сказать, оптимизация Бялика». Аудитория мгновение переваривала услышанное и, переварив, благоговейно выдохнула: «Бя-а-лика». И не слыша этого благоговейного вздоха, прошептал себе горько в самую душу Арье: «Лерка, шалава!»

Поначалу их занесло в Тель-Авив. Главными причинами этого выбора были полутайные напутствия Донского («там очень сильное поэтическое ядро сколотилось») и увещевания вторившей ему Валерии («все московские поэты уже там — в Москве скоро одна шушера коммерческая останется»). У Льва-Арье до сих пор встают дыбом волосы при воспоминании о тех мытарствах. Это нельзя было назвать жизнью — существование в чудовищных трущобах тель-авивского юга, населенных полуголым смуглым вечно орущим что-то людом и огромными летающими тараканами. И этот язык — ни на что не похожая извлеченная безумным Бен Иегудой из тьмы веков и переделанная по-новому тарабарщина, без знания которой все вокруг считают тебя убогим идиотом. Его, без пяти минут доцента филологии МГУ!

Они временно поселились у Шурика Бляса, с которым были знакомы еще в Москве по студии Донского. Шурик снимал двухкомнатную конуру в пятиэтажном муравейнике с вечно открытыми нараспашку дверями квартир, так что шум многих неблагополучных жизней сливался в не стихающий 24 часа в сутки душераздирающий вой. Будь Лёва немного чувствительнее, он бы, наверное, покончил с собой. Чувствительного же Шурика от опрометчивого шага спасали алкоголь и травка. Он работал в муниципалитете — в бригаде по уборке города от задавленных и просто сдохших уличных кошек и собак. В бригаду же устроил и Лёву: «Бабки неплохие, и платят регулярно со всеми делами социальными». Бригада была сформирована целиком из «сильного поэтического ядра» — бывших москвичей и ленинградцев. Выходцами из городов попроще «ядро» брезговало, держась особняком и гордо называя себя «поэты Тель-Авива». Лёва недоумевал, что привело их сюда, в трущобы чужого богатого довольного собой города. ТАМ — их знали, публиковали, платили гонорары. А здесь... Кому и зачем они нужны с этой своей русско-советской графоманией и непреодолимой литинститутской спесью?! Ну, разве что дохлых кошек убирать. Все они были членами местного Союза писателей, то есть его русскоязычной секции, и раз в неделю тусовались в уютном доме в самом центре Тель-Авива. Секцию организовал некто Штейн, прибывший на Святую Землю из Молдавии еще в 70-х, имевший солидные связи в Сохнуте и писавший бесчисленные издававшиеся за казенный счет книги о судьбах советских евреев. Должность Штейна была вполне официальной, с реальной зарплатой, и Лёва с тайной завистью думал, что вот так-то еще можно было бы здесь прожить. Тем более что тусовки посещали и русскоязычные девицы, вполне ничего из себя, увивавшиеся вокруг престарелого Штейна. В точности так же московские литературные девицы увивались вокруг Донского, и Лёва вслед за мудрым Соломоном думал, что нет под солнцем ничегошеньки нового. Так вот текла мутным потоком его жизнь, и некогда было перевести дух и задуматься: с 8 до 17 — дохлые кошки и собаки, мгновенно терявшие свежесть во влажной тропической жаре, потом — студия по изучению иврита и раз в неделю — поэтическая тусовка под крылом маститого Штейна. Потом — возвращение в вибрирующую от завываний восточного транса конуру Бляса, где покуривали травку, усугубляя ее действие дешевым вином, Шурик с его полнотелой подругой поэтессой Ритой, сугубо воспевающей прелести коленно-локтевой позиции, и маявшаяся бездельем Лера. В зависимости от того, в каком направлении действовало волшебное курение, Шурик с Ритой либо предавались

безумным соитиям, либо выясняли отношения, жестоко матерясь и от души колошматя друг друга. Участия в драках Лера избегала. Насчет же соитий Лёва уверен не был. Студию по изучению иврита троица не посещала, а потому вечерами никто за Лерой не надзирал. У Лёвы же не всегда после кошачье-собачьих погребений и иврита сохранялось желание исполнять супружеский долг. Впрочем, как оказалось, Лера не только курила травку и занималась черт-те чем с Шуриком и Ритой.

Как-то вечером занятия в студии иврита отменили, следующий день был выходным, и Лёва поспешил в конуру — вытащить Леру на пляж, а потом посидеть в уютном ресторанчике на берегу. Короче, провести время как люди. Но... Леру он не застал. Нетрезвая Рита с заплывшим глазом (то была фаза скандала), всхлипывая, злорадно сообщила: «Умелась твоя Лерка с каким-то черным на крутой тачке. Сказала не ждать». Он опешил, заныло сердце. Шурик сунул ему в открытый рот дымящуюся самокрутку: «Пошаби — полегчает. Все они бабы... сам знаешь». Лера вернулась через день поздно вечером. Как ни в чем не бывало прильнула горячим телом, заговорила быстро: «Ой, Лёвушка, я место нашла в университете. Обалденно! Короче, он выходец из Йемена, профессор арабского языка здесь в Тель-Авиве. Ну, конечно, надо срочно иврит подтянуть, но пока и с английским можно. Там на кафедре тема на мою кандидатскую похожа. А поживу у него. Ты уж не обижайся». Он смотрел на нее, онемев, вытаращив глаза и не веря своим ушам. Она дернула плечом: «Ну Лёвушка, надо же жить. Я и о тебе думаю — и тебе со временем место найду. А так — пропадем». — «Т-ты понимаешь, что меня п-предаешь?» — дрожащим голосом выдавил он. Лера снова пожала плечами, виновато вздохнула: «Пойми, это выше меня. Когда он во мне — я иные миры созерцаю». Быстро побросала в сумку шмотки, торопливо чмокнула обезумевшего Лёву в щеку и — прочь. Он бросился к окну и увидел, как смуглый господин в светлом открыл перед ней дверь дорогого белого авто, уселся сам, и они укатили.

В тот вечер Лёва в первый и последний раз в жизни накурился и напился до беспамятства. Очнулся голый между голыми Шуриком и Ритой. «Дура, Лерка. Такого мужика классного бросила», — сладко потянулась Рита, умелой рукой настроила его склонный к утреннему отвердению инструмент и, оседлав, плавно закачалась, постанывая.

Лева явился на очередную поэтическую тусовку к Штейну чуть жив. Тот сам подошел, выслушал сбивчивую его исповедь, положил руку на плечо, заговорил мягко-убедительно: «Забудьте про университет. Это мечта несбыточная. Поверьте, здесь не до Льва Толстого. Уезжайте на юг, в Беэр-Шеву. Там дешевле и жизнь проще. У меня там приятель — аудитор в солидной фирме. Курсы закончите бухгалтерские — будет работа приличная, кусок хлеба с маслом. Возьмете ссуду, квартиру купите. И еще, знаете, в Беэр-Шеве литстудия “Оазис” беспризорной осталась. Руководитель в Канаду уезжает, а “Оазис” засыхает, так сказать. Вот вы бы и руководили. Я помогу, разумеется. Вы же не отмороженный московский поэт, в конце концов. Все у вас устроится».

«Столб-б-б-б-б, — вдруг раздалось в студии и продолжалось, как бы вбивая в голову гвозди: — б-б-б-б...» Арье замотал головой, прерывая долбленье: «Ну а дальше-то что, Аркадий? Б-б-б... Ну, так что же?» — «А ничего, — блаженно-хитро улыбаясь, ответил Аркадий, сам столбоподобный, в застиранной майке-балахоне на тучное голое тело и в шортах, обнажавших толстые волосатые ноги. — Это вот как квадрат у Малевича. Квадрат — и всё. И у меня столб — и всё». — «Ну, если так, то конечно... Можно сказать, есть в этом смысл», — боясь обидеть Аркадия, уклончиво резюмировал маэстро. Михаил, чуть пригнувшись, покрутил толстым, как сарделька, пальцем у виска, с трудом сдерживая смех. Арье взглянул на него строго.

Владислава Сионская, бледноланитная дева лет тридцати, мать-одиночка и

завзятая пофигисто-буддистка, худощавая, но с выразительными формами, поднялась и вопросительно взглянула на него — руководителя — упрямыми глазами. Чем-то она напоминала Льву Леру — не внешностью, а этакой устройчивой безалаберностью, способностью балансировать на краю бездны, никогда в нее не срываясь, и еще — подспудным призывом к соитию. Взгляд Владиславы его волновал, но он никогда не отвечал на него, опуская глаза. Уж больно похожа была, и снова в бездну — не хотелось. «Да-да, читайте», — улыбнулся ей Лев-Арье, внутренне подбираясь, — спектакль предстоял не для слабонервных: Сионская писала заумные, паче талмуда еврейского, вирши, пугая почтенных студийцев. Вот и сейчас, тряхнув постриженной в короткое каре русой головой, глуховатым прокуренным голосом она прочла:

Анахата, сахарсрара,
Манипура, свадхистана,
Жжёт мне чрево муладхара.
Не бойся, любимый.
В оргастически дрожащей тьме для тебя одного развожу я
Ночи чужую беду — руками.
Любимый,
Парадоксальность мысли твоей
Пронзает глубины моих гениталий —
Так гениально она структуральна.
Кровью светлою менструальной
Омою мою я
Непричастность к зачатию.
И твою, любимый.

Закончив, нетерпеливо вскинула бледное лицо, как бы гордо-победно вопрошая: «Ну как?!» В студии царила мертвая тишина. Очнувшись, столбоподобный Аркадий прошептал: «Гениально!» Лев кашлянул и поощрил: «“Омою мою я...” Это да, безусловно, удачно. Продолжайте дерзать, Владислава». Сказанное прозвучало так искренне, что темно-алые губы пофигисто-буддистки, чувственно дрогнув, приоткрылись, и большие серые глаза откровенно призвали к соитию. Лев-Арье поспешно опустил очи долу. Вновь воцарилась тишина. Сухоньким кашлем стараясь привлечь внимание, Ипполит, любопытством преодолевая неловкость, проблеял несмело: «А вот, простите, Влада, там в начале у вас... Я не понял... Что-то там “анасрара, мудостана”, это что же такое, простите?» Студия поперхнулась сдержанным смешком. Владислава нетерпеливо дернула по-буддистски коротко стриженной головой. «Анахата, сахарсрара, — строго поправила она Ипполита и презрительно пояснила: — Это чакры». Зрачки Ипполита расширились, он, икнув, опустился на место и потянулся дрожащей рукою в карман — за сердечным. Михаил, чуть пригнувшись, покрутил толстым, как сарделька, пальцем у виска, с трудом сдерживая смех. Арье взглянул на часы. Дверь в студию распахнулась, вошла-ворвалась Аполлинария, Поля — довольно еще молодая толстушка. И сразу у Льва потеплело на сердце. Полная Поля была от него без ума и при этом ни над какой бездной не балансировала, а, подло брошенная ушедшим к престарелой богатой изральтянке мужем, жила себе тихо, сына-солдата растя. Переводя дыхание, она заговорила торопливо и взволнованно: «Ой, Лев, ну, то есть, Арье... На работе задержали... Завтра в офисе гости, ну и попросили помыть этот, как его там, ну, актовый зал. Думала, уж не успею». Ее по-коровьи большие глаза смотрели на Лёву-Арье со спокойным приятьем. И он не опустил очи долу, а ответил ей таким же доверчивым взглядом: «Ну, Поля, ну, что вы, я все понимаю. Мы же с вами рабочие люди. Вы как раз вовремя — у нас еще время осталось. Так что, прошу вас». Поля прошла к свободному столу, по пути сдвинув несколько стульев с телами убогими старцев еврейских, достала из сумочки мелко исписанные листки: «Я... Лев... Ну, я лирику, как всегда». Он ободряюще кивнул. Поля

вздохнула — всколыхнулась большая высокая грудь — и грудной голос зазвучал в резонаторном ящике крупного тела:

О прошлом вспомню, подойду к окну
И в прошлое я память обмакну.
Когда я хрупкой девушкой была,
Венки я из ромашек всё плела
И млела над вечернею рекой
Под ласками твоими, дорогой.

Каре-коровьи глаза смотрели с приятьем, с желаньем в объятия приять — в уютную мягкость объятий, теплых спокойным теплом очага и спальни семейной, далеко-далеко от безумств и от бездны. И Лев-Арье понял, что он ей уступит. Сегодня, наверное, он ей уступит. И бархатным голосом, им он когда-то очаровывал юных сучечек филфака, голосом, полузабытым в беспросветном бреду эмигрантского быта, выразительно проворковал: «Очень, ну очень лирично. Неподдельное чувство — то, без чего невозможна поэзия, — это у вас, Поля, есть. Ну, кое-какие вот блошки... “К окну” — не совсем благозвучно. Но мы над этим поработаем вместе». — «Да, да, конечно, Арье... Поработаем вместе», — обмирая от обожания, низко лепетала Аполлинария. Старушки достали платочки, созерцая живую сцену взаимных признаний, и у Ипполита заблестели глаза. Только бледноланитная Влада и Михаил, переглянувшись, ухмыльнулись цинично.

Заседание закончилось. Люди «Оазиса» потянулись на выход. Вышел и Лев, и студию запер. Его ждала Поля. Рука об руку шли они по коридору культурного центра, мимо библиотеки, вдоль стен, увешанных фотокартинами бурной истории молодого еврейского государства. Были здесь и опаленные огнем боя ликующие солдаты у стен древнего Иерусалима, и рукотворно орошенная зеленеющая пустыня, и нарядные разнообразного цвета кожи детки, умильно внимающие темноволосой высокогрудой красавице-учительнице, и что-то исследующие при посредстве фантастических приборов люди в глухих зеленых комбинезонах, и цветущие города у лазурного моря, и пр., и пр. Каждый раз, созерцая эту оргию созидания, Арье печально думал, как далеки от нее литературно ублажаемые им советские старички. А он-то сам? Да в общем-то тоже далек. А поэты московско-тель-авивские? О-о, те и подавно! Но тоже вот, слышал он, как-то устроились. Только не по поэтической части. Рита, так та и вовсе в Штаты сдернула. Ну, она-то, понятно — Леркиной породы.

Вышли в душную тьму и побрели восвояси люди «Оазиса». Кто куда: Аркадий — в расположенный неподалеку интернат для тихо помешанных; Влада, ощущая вечерний позыв к соитию, малое чадо поручив попечению соседки, направила стопы в собрание пофигисто-буддистов — забыться в дурмане курений, соитий и чакр; словолюбивые старцы возвращались в убогие съемные норы.

«Мы уйдем, и “Оазис” засохнет, умрет вместе с нами, заметенный суховеями бурной израильской жизни. Молодежь говорит на иврите, принадлежит уже здешней жизни. Что ей русская литература? Что ей Лев Николаич Толстой?» Так печально рассуждая, в душной израильской ночи влекся за полною Полей Арье Шнеерзон, он же Лев Сидоров, Лёва. Присутствие Поли умиротворяло, как-то мирило с жестоким миром. И он думал: «Ну да ладно, все же как-то устроилась жизнь. “Покоя сердце просит”. Вот Поля — такая уютная вся. А то с Лерками этими — в бездну прямиком».

Поглядел вслед уходившим студийцам. Под фонарем белым пятном в душной тьме мелькнуло лицо обернувшейся Влады — темно-алые губы пофигисто-буддистки, чувственно дрогнув, приоткрылись, и большие серые глаза откровенно призвали к соитию.